



Шлапак Виктор Владимирович родился 28 декабря 1939 года в Киеве, закончил среднеобразовательную школу, после школы служил в армии, работал на заводе, учился в университете им. Шевченко на филологическом факультете, по специализации русская литература. После окончания университета работал преподавателем эстетики и русской литературы, писал и печатался, сейчас на пенсии. С 1992 года член Союза российских писателей, член Ассоциации украинских писателей, член Национального союза журналистов. С 1992 года издает международный литературно-художественный журнал «Ренессанс». Является прозаиком, поэтом, драматургом, сценаристом, публицистом, критиком – автором пяти романов, сборника рассказов, сборника пьес, трех пьес, изданных отдельными книгами, двух киносценариев, шести сборников поэзии, ряда книг публицистики и критики.

**М**ашины растянулись по шоссе длинной вереницей черных быстролетящих над землей гусей. Машин было семь.

Он сидел в первой машине. Откинувшись на мягкую и глубокую спинку сиденья, дремал, чтобы забыться. Ведь так всегда человеку хочется что-то забыть. Он тоже хотел, но, зная себя, подумал, что и на этот раз ему не удастся провести себя, хотя так просто было бы обмануться, если бы удалось задремать. Он подумал и удивился, что эта неожиданная мысль, о которой он все время знал, в которой, казалось, жил, пришла ему в голову именно сейчас.

«А ведь можно так заснуть и проснуться – и пройдет четыре месяца, год; за это время я проеду полмира, и все сольется в неуловимой, но единственной линии жизни, уже прошедшей. Так, наверное, думают перед смертью... ведь все, что было, не повторится. И, наверное, я сейчас не вспомню, что это за страна». Это настроение показалось ему мрачным. И когда было так, он переводил свои невидящие глаза в

спину шофера и смотрел, а потом разговаривал с этим «говоруном», как в шутку называл этого доброго и до странности молчаливого человека.

– Скажите... нет, не надо, – резко перебил он себя. Ему просто не хотелось нарушить эту прелесть безвременья и неузнавания. Он обсмотрел половину торса, выступающего над сиденьем, и остановился на шее, на двух жирных складках, коричневых от загара, обтянутых сеткой морщин, и чуть-чуть белых и коротких седых волос, топорщащихся на шее и выбивающихся из-под фуражки Кэта (так звал он шофера, соединяя в этом имени его женскую нежность, которую тот питал к человечеству, и краткую молчаливую деловитость, которой тот обладал не в меру).

– Не надо, – добавил он и посмотрел в боковое окно, хотя Кэт и без того молчал.

Я еду домой и вот так же буду ходить по улицам своего города, чужого для проезжающих в черных машинах, торопиться домой, в магазин за хлебом...

Интересно, подумал он, неожиданно для себя ощутив рукою, которая лежала на кармане, маленькую выпуклость и вспомнил, что это слоненок, подарок для сына. Если я возьму в руки слоненка, игрушечного, мне вспомнится тот слон, большой, настоящий, на котором я катался?

Он улыбнулся.

– Кэт, почему вы молчите? Скажите, если вы увидите живого слона, а потом возьмете в руки игрушечного, будете ли вы уверены, что в руках у вас не живой?

Он негромко засмеялся и сам остался доволен своей неожиданной шуткой. И ему показалось, что он только сейчас услышал свой голос, тихий и мягкий, и как будто помолодевший.

Тут он заметил, как две складки на шее Кэта слегка всколыхнулись, словно кто-то притронулся к ним.

– Кэт, вы улыбаетесь, молодчина вы седой, не огорчайтесь... Мы скоро встретимся, только у меня дома, понимаете, дома. Не все ли равно, какого вам политического слона возить? – И он опять рассмеялся, радуясь своему такому нелепому и так пахнущему жизнью веселому, звонкому голосу.

Кэт кашлянул и глухим басом, как из бочки, ответил:

– Нет.

– Дорогой мой, радуйтесь за меня. Извините, Кэт, я полюбил вас. Мы славно потрудились, но видите ли... я маленький слоненок.

– Нет, – все так же глухо и неожиданно резко, с каким-то гулким дрожанием внутри пробормотал Кэт, и две складки поползли вниз, натянулись и опять вернулись на свое место. Кэт оставался неподвижен.

Он с благодарностью посмотрел на этого человека, молчаливого, с такими, как ему

показалось, говорящими складками, и как это он делал всегда, — протянул руку и положил на плечо Кэта, потом прижал к его огромному плечу руку, оторвал ее и полез в карман.

— Мы увидимся... твой сын... вот передай. Он будет жить. Мне ничего не жаль. Я верил всегда, такие люди есть везде, их больше.

— Да, — ответил Кэт, словно речь шла не о нем, и, не поворачиваясь, протянул свою левую руку и взял маленького снежно-белого с большими ушами слоненка.

И на душе стало бы свободно и тихо, если бы не прощание с Кэтом, да и не только с ним. Он прощался с целым миром, где так устает человек жить для других, где так хочется одиночества. И думая так, он как будто возвращался к тем временам, когда он входил в шумные аудитории стран и видел только застывшие в постоянной вежливости маски дипломатов; и он думал, что судьбою Кэтов управляют они. И часто, направляясь туда, он под разными предлогами задерживался в машине и смотрел на Кэта. Он иногда завидовал его жизни, его загорелым, чуть белесым, обтянутым морщинами складкам на шее. В них теплилась жизнь, страх и много веры в то, что человек будет жить. И все это было тем, что называется человеком, Кэтом, и он любил его и не хотел расставаться с ним.

Улицы, люди, которые пробегали или просто проходили мимо, казались ему знакомыми. Они шли в желтом, колышущемся пространстве, наполненном солнцем, как водой, и даже зелень была желтой; и это все, в своей неподвижности, задышалось. Дома, их прозрачный, легкий, ослепительный изгиб, казались нарисованными удачно рукой мальчика, — такой рисунок он когда-то видел. Реальное и вечное смешалось, неожиданно встало рядом. Он решил проверить это, чтобы куда-то вернуться.

— Ты, Кэт... тогда слушай, я жил или этот рисунок держу в своих руках?

— Нет, — снисходительно ответил Кэт, который привык к странностям и неожиданностям этого большого и справедливо-го ребенка. Так Кэт думал иногда о нем.

— Ты старый, безжалостный черт. Так вот, знай, я еду жить, у меня тоже будут такие две складки.

Он замолчал, ему стало радостно оттого, что он вдруг, для себя, обнаружил жизнь везде: все вокруг, казавшееся нарисованным, наливалось объемом и дышало. Это не было рисунком, это было лучше.

— Нет, — прервал его размышления Кэт.

И все остановилось. Он смотрел своими большими и по-детски раскрытыми глазами и не знал, радоваться больше или нет. И его охватило какое-то острое холодное чувство страха и еще чего-то, о чем он не знал: люди это зовут предчувствием. «Никогда человеку не удастся обмануть себя», — подумал он, и стало все обычным, тоскливым и нечем было дышать.

Когда машина остановилась на очередной перекрестке, в переднее окно постучали. Он увидел половину человеческой фигуры и большой согнутый в суставе, вежливый, белый и мясистый, с короткими черными волосами, растущими в разные стороны, палец. Потом фигура нагнулась,

он увидел улыбку, ряд почерневших зубов и закрыл глаза.

— Открыть? — спросил Кэт.

— Открой, — ответил он и приподнял веки.

Улыбка исчезла, в машину протянулась громадная рука со свертком, подождала, пока его возьмут, потом снова появилась почти без изменения и — исчезла.

— Телеграмма, — сказал Кэт, когда машина тронулась.

— Эх, не догадались, старина, переkreститься, — пожалел он.

— Вот, — Кэт протянул телеграмму.

— К черту. — Он смял ее и, не зная, куда бросить, сунул ее в карман.

— Ведь все, Кэт, все, скажи? Сегодня то же число, когда мы выехали, или прошел год? Я не хочу...

— Нет!

— Вот видишь, — сказал он просто так, чтобы забыть о телеграмме.

Ему стало тесно в машине. Он оглянулся назад. Все так же ровно, выдерживая дистанцию и повторяя движения ведущей, шли машины, и от этого они были неподвижными; и ему показалось, что кто-то в очках смотрит на него. Машины внезапно остановились. Он посмотрел вперед: шоссе резко сворачивала за угол дома.

— Кэт... мы простимся сейчас, а ты их... я хочу сам, доберусь.

Кэт ничего не ответил.

— Привет Джи, не будь сломом, ну... — И он хотел привычным движением положить руку на плечо, но не успел, машина тронулась. левой рукой он достал отскочившего в сторону слоненка и ткнул его в карман. Машина так же резко остановилась. Он дотронулся до плеча Кэта и, с силой оттолкнувшись от него, выпрыгнул из машины и побежал в парадное ближайшего дома. Когда остальные машины вынырнули из-за угла, Кэт ехал так же ровно и точно по середине шоссе.

И с каким-то странным чувством, посторонним, как будто оно было не его, смотрел на проезжающих мимо, на неподвижные и недостижимые фигуры и видел, как прохожие останавливались и с любопытством всматривались в окна черных, быстролетящих машин, так похожих на гусей, которым никогда не оторваться от земли.

Когда оставшиеся люди сдвинулись с места и пошли, так же внимательно всматриваясь в себя, в магазины, он понял, что может идти. Он даже хотел идти, но не смог. Он только оттолкнулся от стены, чтобы эти люди не приняли его за прятавшегося днем человека, ведь кроме них, людей, никого нет на улицах. Где-то сверху хлопнула дверь, послышался звонок, перебежки, там что-то творилось незнакомое, неведомое. Он почувствовал легкость и свободу, такое же незнакомое ему чувство, как и все то, что делалось там, наверху. И он шагнул вперед, всего на шаг, зная, что сейчас он самый сильный и самый свободный человек на земле.

И это было похоже на детство, когда его очень долго не пускали на улицу.

Мысль была веселой, озорной, но он грустно осознал, что так думают только о детстве. По мере того как звук приближался, он наполнялся для него живым значением и, казалось, что вот это все, до мель-

чайшей бумажки, измятой, брошенной в углу; пыли на карнизах, запахов, вкусных и теплых, и есть самое значительное, важное, а все остальное — ненастоящее и ненужное.

Он вышел на улицу. Никто не обратил на него внимания. И он оглянулся так, как оглядываются коренные жители городов, еще не зная, куда идти. Он повернул в сторону, противоположную большому потоку людей, направлявшихся в центр. Ему хотелось побыть одному, побродить просто так и первым самолетом улететь на родину, домой. Он свернул в переулочек и пошел, медленно, рассматривая прохожих, витрины магазинов, машины. Две женщины, стоявшие перед магазином, и очевидно, только что встретившиеся, делились последними новостями. И он подумал, что их стало так много на нашей планете. Проходя мимо, услышал:

— Ужасные страдания, — говорила одна из них низким подымающим голосом.

— Я все сердцем чувствую, — ответила вторая, сочувствуя тому, о чем рассказывала ее собеседница.

Из дальнейшего их разговора он понял, что речь идет о племяннике, которому негде жить. Он улыбнулся, вспоминая, думал ли он об этом родственнике, когда произносил такие же слова в своем заключительном докладе, и почувствовал, что ему до смерти хочется поговорить с кем-нибудь о прокисшем молоке, о родственниках. Он уже давно остановился и только теперь оглянулся на говорящих. Они заметили его, и каким-то особым, едва уловимым и понятным только им самим жестом дали понять, что он их меньше всего интересуется, повернулись и пошли. И хотя они шли, по-прежнему разговаривая, весь их вид говорил, что вот мы ушли и не повернемся, хотя тебе этого хочется. Может быть, это было не так весело, и он пошел дальше. Он узнал этот город, который раньше проезжал много раз, город с его желтым, как желток, солнцем. Но для него этот город был, как и любой другой город Европы, Азии, Америки.

Разоблелась голова, и он понял, что ничего из этой затеи не выйдет, и что, в сущности, ему некуда спрятаться на земле. Его больше не интересовали люди, дома, не пугали машины, выскакивающие из-за поворота и останавливающиеся рядом с ним. Он шел, не разбирая улиц, сворачивая все время в переулки, пустынные, узкие и глубокие. У газетного киоска остановился неожиданно для себя и, купив газету, стал ее просматривать.

Его поразило очень знакомое постаревшее лицо, худое, с затаенным, только виденным ему страданием и с усталыми большими глазами. «Нет, надо поправиться», — подумал он и потрогал свои впалые щеки.

Газета печатала последний доклад человека, известного всему миру, человека, который разочаровался в словах, но который всем сердцем хотел помочь всем людям разобраться в этой бессмысленной сутолоке человечества. Он рисует страшные картинки разрушения, но ему хочется, чтобы человек выжил. За докладом шел перечень тех, кто выражал сожаление по случаю его ухода и говорилось, что вся мировая общественность будет просить,

чтобы он вернулся... и ему стало жалко человека, которого будут проносить...

Не хотелось думать, он сложил газету, вернул ее обратно киоскеру и пошел, но думалось само собою. События, страны, лица – все проходило перед ним: улыбки, дороги, машины, приемы, взрывы, женщины и дети.

И он хотел в этом хаосе случайностей установить словом очередность событиям – мир, жизнь, смех, любовь, женщины и дети; и все казалось возможным.

И так же внезапно, как это все появилось, так же все – исчезало. Стало непривычно пусто и безразлично. Он шел, прижимаясь к домам, входя в их тень, прячась от жары. Маленькие капельки пота выступили на лбу.

Он полез за платком в карман и вынул смятую телеграмму; развернул ее и прочел. Профсоюзы и другие организации города, узнав о его проезде, от своего имени, их семей и детей просили его не покидать свой пост, так как они очень на него надеются. Он замедлил шаг, раздумывая, что делать с телеграммой и вдруг, с силой смяв ее, бросил на тротуар. Переулочек неожиданно кончился, и дальше город спускался кривой волнотой и бросающейся вниз улицей. Он остановился. Ему стало страшно за себя и за этот город – за все, что было и что может быть. Там, внизу, домов не было видно, был только ряд однообразных белых коробок, почерневших от времени. И все это сплослось в одну точку. Так было и так будет.

Ему показалось, что вон там греется какое-то огромное неубываемое тело человеческой тоски, бессилия и страха. По мере того, как он спускался вниз, все принимало реальные очертания: жалкие лачуги, запахи, резкие и нестерпимые, и здесь же – цветы, люди; маленькие и большие. Но маленьких было больше, словно каждая пора этого человеческого страдания давала по ребенку, чтобы жить самой. Он уже не думал ни о чем, он обессилел и был одинок, как одиноки были и его слова.

Он уже различал людей. Дети шарахались от него и бежали с криком и визгом по улице; и он знал, как это было уже не один раз, что толпа выйдет на улицу, и ему придется идти сквозь невыносимую тишину, сквозь острые, насмешливые, наглые, жалкие и беспомощные взгляды жителей земли. Он уже видел их, их становилось больше и больше. Он опустил глаза и прибавил шагу. По наступившей тишине он понял, что их много. Он поднял глаза. Люди стояли группами, дети жались у их ног.

Он пошел быстрее. Он смотрел на них, не отрываясь. В своей неподвижности они были словно высеченные из камня, живые надгробья великому человеческому одиночеству. Он понял, что эти люди одиноки, и они молчат, убедившись в своем бессилии перед словами. Он шел, словно вращался по какому-то кругу, и выход из одного круга был началом другого. Из оцепенения его вывел крадущийся за ним шорох шин. Он вздрогнул и оглянулся. Это было такси. Поселок был уже далеко. И все, что он хотел забыть, зачем и шел сюда, не ушло, как он этого хотел, а оказалось ближе – у самого сердца. Усталость брала свое. Он стал в тень и засмотрелся на солнце, на людей, на деревья, на какой-то очень смешной

трамвай, подталкиваемый невидимой рукою. Трамвай не хотел идти, а его толкали, и он дребезжал и капризно раззванивал. «В детстве я тоже играл в трамвай, – вспомнил он, – но там он был послушный».

Он всматривался в мир, словно хотел найти что-то общее с ним. Все предметы казались неестественными, непослушными, непонятными для взрослых, т.е. для него. Он улыбался и думал, что детям живется лучше всех и что дети могли бы в свободное время от езды на слонах заниматься политикой, и тогда бы мир и люди поняли, как хорошо жить, жить и кататься на слонах, настоящих, живых, и держать их в маленьких своих ручках. Его уже не пугало одиночество... «Вот только бы не болезнь горла», – неожиданно вспомнил он. А ведь еще год назад он дал слово навесить врача и узнать о причине болезни, но за целый год он так и не подумал о нем. Он хотел сейчас же бежать к доктору, старому своему приятелю, забыв, что это чужой город; вспомнил о жене, которую ровно столько же не видел, и о сыне. Он потрогал карман и с удовольствием ощутил подарок сыну. «Давно я не держал его на руках, «своего маленького погонщика» (так он в шутку называл своего сына), который просил привезти из Африки белого, как солнце, слона. И только сейчас он заметил, что идет в очень узком, с высокими домами переулочке, так тихо и прохладно было в нем, и там, где он оканчивался, виднелись белые маленькие, пушистые столики кафе. Когда он сел и заказывал что-то перекусить, он, по старой привычке, стал вспоминать все, что случилось сегодня с ним, и потом подумал: что может сделать в сущности человек против слона (так он назвал сейчас время).

Он ел и неожиданно почувствовал странную скованность, как будто кто-то смотрел на него долго и пристально. Он оглянулся и замер: в метрах десяти, облокотясь на открытую дверцу машины, стоял Кэт. Они смотрели друг на друга так долго, и он не знал, что делать. Вилка застыла между тарелкой и его ртом, и он начал вращать ею. Заметив это нелепое движение по улыбающимся лицам сидящих вокруг, он опустил руку и поманил Кэта, приглашая за столик. Кэт отрицательно покачал головой и показал рукой на часы. Это движение испугало его. Кэт что-то знает. Не отослать ли Кэта? А может быть, это само время, и Кэт ни при чем; и он опять взглянул на него и только сейчас обратил внимание на глаза Кэта – они нетерпеливо и беспокойно подрагивали. «А ведь все равно, я бы взял чужую машину, чтобы уехать... не все ли равно». Он забыл, что должен есть, встал, расплатился и пошел к машине. Потом на мгновение оглянулся и увидел длинный светлый ход между домами, словно прорубленный кем-то, с голубым и огненным отверстием в конце. Он задержал взгляд там и медленно вернулся глазами к белым, пушистым маленьким столикам.

В переулочке было пустынно, только одинокая тень пряталась от солнца и стояла, прижавшись к домам, запрокинув голову к небу и тосковала. Он продолжал стоять.

Сидящие за столиком ближе к нему, поглядывали на человека, стоящего между машиной, такой большой, черной и нелепой

в этой жестоко изнуряющей жары, и недопитой, оставленной на столе, бутылкой. Они смеялись. Их было трое, веселых людей. Они сосредоточились в них, самой живучей жизненной троице.

Они были навеселе. И, очевидно, поняли, что этот человек не хочет идти туда, куда его повезут, один из них, худой с помутневшим взглядом и невообразимо длинными руками, ни минуты не сомневаясь в выборе, поманил его к себе и залился таким визгливым тоненьким смехом, что все окружающие оглянулись и начали смеяться. Он улыбнулся этим людям и, повернувшись, пошел к машине. Не глядя на Кэта, положил руку на его плечо и нырнул в машину. Машина рванулась сразу, словно оторвалась от земли, оторвалась от такого смешного смеха, от тоскующей тени... Все замелькало и пропало, потом плыло рядом прозрачное небо.

– Кэт, я не был один: скажи, удастся ли человеку быть одному, даже если он не одинок?

– Нет, – сказал Кэт, давая понять, что не следует рисковать при быстрой езде.

– Не ворчи, старина, об этой истории не узнает никто. Не поверят. Это сон или фантазия художника, Кэт? Политику не следует доверять народу? Тогда бы нам нечего было делать.

Он почти освоился и привык к машине, вот если бы не эти, все время давящие скорости.

– Кэт, давай меняться, я сяду за руль, поеду к жене, к сыну, а ты вернешься туда с той телеграммой... Кэт, испугался, ты боишься, что они не послушают твоего человеческого сердца. Коишься?

– Да, – бросил Кэт после паузы.

– Я думал о жене, о сыне, я лечу к ним, Кэт. Я буду ходить сам на работу и буду молчать.

Кэт молчал, и он знал, чтобы Кэт мог заговорить, он должен ходить по земле и выпить немного. И, наверно, этот человек знает такое, чего не знает никто другой, а молчит, черт упрямый. Расшевелить его было невозможно. Он стал смотреть по сторонам.

Проносились мимо машины, деревья, дома, с резким и тихим криком, падали куда-то, и только желтое ослепительное бесконечное солнце было неподвижно.

«Только художники наивны, как звери», – подумал он и вспомнил, как в детстве он раскрашивал в синий и желтый цвет все картинки. Таким ему хотелось везде и всегда видеть мир, желтый и синий. И теперь он начал понимать, что мечта его останется мечтой, что миру нужны вот такие люди, как Кэт. Много.

Неожиданно машина остановилась. Проезд был закрыт. Кэт вышел из машины. Через минуту он вернулся.

– Аэродром. Объезд, – раздраженно сказал он и повернул машину. Проезжая дорога вела через растянувшееся до горизонта поле, здесь же она обрывалась, и открывались глазу поселок и люди, которые работали в поле. Стало жарко, он подтянулся к окну и открыл его. Но ветер был еще жарче, с песком, и жег еще невыносимей, слепил глаза. Он захлебнулся от порыва ветра и тут же закрыл окно, едва переводя дыхание. Так они ехали долго.

Вдруг Кэт засигналил. Он приподнялся и посмотрел на дорогу, увидел бегающих по дороге детей, а в поле, рядом с шоссе, коричневые спины людей над землей. Детей было трое, два мальчика и одна девочка. Они заигрались так, что не слышали сигнала.

— Кэт, ты им мешаешь, — сказал он, следя за детьми.

Машина медленно подкатила к ним, но дети не испугались, они, не торопясь, сходили на обочину дороги.

— Остановись, — резко и тихо сказал он.

Машина остановилась, и он увидел напротив себя девочку лет 5-ти. У нее было острое, худое лицо, с большими белыми глазами; тонкие плечи ее нежно оливковых рук застыли в каком-то удивлении перед остановившимся рядом с ней чудом, она смотрела на него, не моргая, выгнув маленькую, хрупкую спинку, правую ножку она занесла на левую. На ее лице застыла и еще теплилась улыбка. Не для него. На мгновение она обдала его каким-то глубоким чувством нежности. Так он чувствовал всегда, когда брал в руки маленькое детское тельце. Она была живая, невозможная и по-детски милая — такой оливковый маленький кусочек жизни. Особенно трогали ее ножки, маленькие, пухленькие они смешно покачивали ее тельце, словно она кокетничала с ним, и это передалось ему. Он позвал ее. Она стояла по-прежнему, не изменив позы, не моргая. А там, в поле, люди неподвижно следили за ними. Они выпрямляли спины до тех пор, пока им это удалось и смотрели.

Его рука поползла в карман и достала слоненка, ставшего еще более сказочным и ослепительным на солнце и на протянутой к ней руке.

Ее неприступную и так безучастную к нему неподвижность вдруг словно чем-то подменили, какой-то испуг дрогнул в ее больших белых глазах, ноги и руки стали твердыми и так застыли. Потом она приоткрыла ротик, обнажая белые с желтизной у десен зубы, и с детской независимостью от условностей мира (так знакомых ему и так не знакомых ей), независимостью, которая и есть только в детстве, взглянула на него, и словно увидев что-то такое для нее необходимое, сделавшее возможным перейти, преодолеть невидимую преграду страха, презрения, отчаяния, даже ненависти, воздвигнутую человеком, помешавшим ее играм, — она закружилась от счастья, какого-то непонятого еще миру, нескромного, бесстыдно-естественного и в то же самое время единственно возможного счастья на земле.

Она, казалось, не видела уже ни машины, ни человека в ней, ни его руки, ни слоненка на ней; она кружилась и подступала тихо, незаметно с детской хитрецой, которую выдавало ее тельце, так не способное хитрить от его маленьких и нежных размеров и вдруг, с криком, веселым и залихватным, она бросилась к нему и схватила белого сказочного слоненка.

— Кэт, — едва произнес он, но машина рванулась на некоторое мгновение раньше.

Когда он оглянулся, они были уже далеко, но было видно маленькую катящуюся белую точку, высоко поднятую над полем. Она приближалась к тем, остававшимся неподвижными, людям, она то взлетала вверх, то опускалась и летела к ним, словно хотела, чтобы и они поверили, порадовались чуду, которое возможно только на

земле, чтобы и они закружились от счастья... но те люди оставались неподвижными.

Машина никогда так быстро не мчалась.

Он уже вышел из машины, его встретили и повели, а он еще видел эту кружащуюся девочку, и в ушах звенел ее детский залихватый ослепительный, с белыми оливковыми молниями смех.

Он ступал по земле и не верил, что это земля и, хотя он уже сегодня испытал усталость от ходьбы, ему казалось, что это его первые шаги на земле. Ему что-то говорили, и он отвечал «да», и оглядывался на Кэту и отвечал «да», как будто никого сейчас не существовало, кроме Кэты и этого единственного слова.

Когда его обступили, он беспомощно оглядывался в этой высокой толпе и искал Кэту с большим грустным лицом, так похожим сейчас на глобус. Он смотрел на него и находил то, что ему нужно.

Когда он отворачивался, Кэт делал знаки окружающим, показывая на сердце, и те отошли. Наконец, они остались одни, и Кэт коротко рассказал ему все.

— Да, Кэт, я возвращаюсь. Дай телеграмму, вот... и купи слоненка... Как хочешь.

Кэт встал и ушел, не оглядываясь.

«Что же такое это обычное течение жизни, что так хочется человеку, где был я, где хотел остаться навсегда; что же такое это сейчас, где я нахожусь?»

Почему там, где я был, я не чувствовал того, что испытываю сейчас. В нем, этом сейчас, здесь — и я вижу — видимое и скрытое, бессмысленное и естественное; естественное здесь считают бессмысленным, а бессмысленное — естественным. Или все, что происходит со мной сейчас, значительно проще, да, все было просто, как есть: простая улыбка девочки сменилась авгуровой усмешкой дипломата».

Он смотрел и слушал. Его окружали люди, слова. Он смотрел и молчал. Ему показалось, что он попал в тупик из слов, людей, молчания и что нет выхода из него.

И вдруг, словно что-то вспомнив, он понял, что существует смысл, который он нашел, о котором он знал и который чуть было не потерял: смысл тому, что люди называют жизнью. Тогда стоит жить и возвращаться, чтобы она... была.

И он вспомнил, что ему всегда хотелось убежать, как мальчику от бесполезных, равнодушных, так мешающих жить слов, и тот разговор о несчастьях родственников, понял он, был значительнее всего, всего.

Он слушал, и казалось, что он видит лица слов жалких, бесполезных, с провалами глаз, дряхлых и обессиленных, и вот сейчас в нем прорастает какое-то гранитное и небывалое, как мечта художника, такое спокойное, как спина Кэты и тех неподвижных живых людей, — желание слова. И это все сейчас соединилось в одном слове — «да», таком же веселом, залихватом и единственно возможным для него.

Кто-то спросил, дряхло и хрипло, над самым ухом, вкрадчиво и осторожно, словно заглядывая внутрь.

— Вы возвращаетесь?

— Да, — твердо ответил он.

И когда он, поднимаясь по трапу в самолет, оглянулся, в толпе, над ней, он увидел взлетевшую руку Кэты, и ему казалось, что над его возвращением поднят белый с большими ушами сказочный слоненок.